Эркман-Шатриан
Рейнские рассказы

Реквием для ворона

I

Мой дядя Захарий был самый любопытный чудак, которого я когда-либо встречал. Представьте себе маленького человека, толстого, короткого, тучного, с ярким цветом лица, с животом в виде бурдюка и с расцветшим носом: это портрет моего дяди Захария. Этот достойный человек был лыс, как колено. Он носил обычно большие круглые очки и, в качестве головного убора, маленькую чёрную шелковую шапочку, покрывавшую ему лишь верхушку головы и затылка…

Мой дядя любил смеяться; любил он также фаршированную индейку, паштет из гусиных почек и старое иоганисбергское, но всему на свете он предпочитал музыку. Захарий Мюллер родился милостью Божьей музыкантом точно так же, как другие рождаются французами или русскими; он играл на всех инструментах с удивительной ловкостью. Нельзя было угадать, глядя на его наивное добродушие, сколько веселья, вдохновения и живости может таиться в этом человеке.

Таким Бог создал соловья: лакомкой, любопытным и певцом, — мой дядя тоже был соловьем.

Его приглашали на все свадьбы, на все празднества, на все крестины, на все похороны. «Мастер Захарий», говорили ему, «нам нужна плясовая или аллилуйя, или реквием к такому-то дню», а он просто отвечал: «Он будет у вас». Тогда он принимался за работу, насвистывал перед своим пюпитром, курил трубки и, покрывая целым дождём нот свою бумагу, отбивал такт левой ногой.

Дядя Захарий и я, мы жили в старом доме на улице Миннезингеров в Тюбингене; он занимал там нижний этаж, настоящую лавку старьевщика, заваленную старой мебелью и музыкальными инструментами; я же спал в верхней комнате; все остальные помещения оставались незанятыми.

Как раз против нашего дома жил доктор Газельносс. По вечерам, когда в моей комнатке становилось темно, а окна доктора освещались, мне казалось, по мере того как я все смотрел и смотрел, что его лампа приближалась… приближалась… и окончательно касалась моих глаз. И в то же время я видел, как силуэт Газельносса колеблется странным образом на стене, с его крысиной головой в треуголке, кисть которой качалась справа налево, с его широкополой одеждой, и его тонкой фигурой, насаженной на пару тощих ног. Я различал также, в

глубине комнаты, витрины, наполненные чужеземными животными, блестящими каменьями, и в профиль — корешки книг, блестящих своей позолотой и расставленных, как для битвы, на полках книжного шкафа.

Доктор Газельносс, после моего дяди, был самым оригинальным лицом в городе. Его служанка Оршель похвалялась, что стирает его белье только через каждые шесть месяцев, и я охотно поверил бы этому, так-как на рубашках доктора были жёлтые пятна, что говорило о количестве белья, бывшего в его шкафах; но самой интересной особенностью характера Газельносса было то, что всякая кошка или собака, переступившая порог его дома, никогда больше не показывалась. Бог ведает, что он с ними делал. Народная молва обвиняла его даже в том, что он носил в одном из своих задних карманов кусок сала, чтобы приманивать этих бедных животных, и когда он отправлялся по утрам к своим больным, и когда он проходил, мелкой рысцой, перед домом моего дяди, я не мог не смотреть без смутного страха на большие полы его одежды, развевавшейся во все стороны.

Таковы самые яркие впечатления моего детства. Что меня более всего пленяет в этих отдаленных воспоминаниях, что скорее всего встаёт в моем уме, когда я мечтаю о дорогом Тюбингене, — так это ворон Ганс, летавший по

улицам, грабивший выставку мясников, схватывавший на лету все бумаги, проникавший в дома; ворон, которым все восхищались, которого все берегли и подзывали: «Ганс! сюда»… «Ганс! туда»… Поистине — странное животное; однажды он прилетел в город со сломанным крылом: доктор Газельносс вправил ему крыло, и все усыновили Ганса. Один давал ему мяса, другой сыру. Ганс принадлежал всему городу, Ганс находился под общественным покровительством.

Как я любил этого Ганса, несмотря на крепкие удары его клюва! Мне кажется, что я вижу еще, как он подпрыгивает на обе лапки по снегу, слегка повёртывает голову и поглядывает краем своего черного глаза, с насмешливым видом. Если что-нибудь падало из вашего кармана, крейцер ли, ключ ли, все равно что, Ганс хватал это и уносил на чердак церкви. Там он устроил свой склад и там скрывал плоды своего хищничества, так как Ганс, к сожалению, была птицей вороватой.

Впрочем, дядя Захарий не мог выносить этого Ганса; он называл жителей Тюбингена болванами за то, что они привязались к подобному животному, и этот человек, столь спокойный и кроткий, терял всякое чувство меры, когда случайно его глаза встречали ворона, парившего перед нашими окнами.

В один прекрасный октябрьский вечер дядя

Захарий казался еще более весёлым, чем всегда; он за весь день не видел Ганса. Так как окна были открыты, то радостное солнце проникало в комнату; вдали осень раскидывала свою прекрасную ржавую окраску, с таким великолепием выделяющуюся на тёмной зелени елей. Дядя Захарий, откинувшись в своем широком кресле, спокойно курил свою трубку, а я смотрел на него; спрашивая себя, что могло заставить его улыбаться самому себе, так как его доброе широкое лицо блестело неизъяснимым удовольствием.

— Дорогой Товий, — сказал он мне, пуская в потолок длинную спираль дыма, — ты не можешь поверить, какое сладостное спокойствие я испытываю сейчас. Вот уже несколько лет прошло, как я не чувствовал себя более расположенным к тому, чтобы взяться за большое произведение; за произведение в роде Сотворения мира Гайдна. Кажется, небо открывается передо мной, я слышу, как ангелы и серафимы поют свой небесный гимн, я мог бы записать все их голоса… О, что за прекрасное сочинение, Товий, что за прекрасное сочинение!.. О, если бы ты мог услышать басовую двенадцати апостолов!.. это великолепно… великолепно. Сопрано маленького Рафаила пронизывает облака, подобно трубе на страшном суде; маленькие ангелы, смеясь, машут крыльями, а святые плачут поистине гармонично… Тише!.. Вот

близится Veni Creator, колоссальный бас… Земля содрогается… сейчас явится Бог!

И мастер Захарий опускал голову; казалось, он вслушивался всей своей душой, и крупные слёзы катились из его глаз: «Bene, Рафаил, bene», — шептал он. Но пока мой дядя погружался таким образом в экстаз, пока его лицо, его взгляд, — его поза — все в нем выражало небесный восторг, вдруг на наше окно бросается Ганс и оглушительно каркает. Я увидел, как дядя Захарий побледнел; он устремил растерянный взгляд на окно, рот его остался открыт, протянутая рука застыла неподвижно…

Ворон сел на переплет окна. Нет, я, кажется, никогда не видал более насмешливой физиономии; его большой клюв слегка поворачивался вкось, а глаз его блестел, как жемчужина. Он прокричал второе насмешливое «кар-р-р» и стал причесывать свое крыло ударами клюва.

Мой дядя не говорил ни слова, он как бы окаменел…

Наконец, Ганс полетел дальше, а мастер Захарий, повернувшись ко мне, смотрел на меня в продолжение нескольких секунд.

— Узнал ты его? — сказал он мне.

— Кого это?

— Дьявола!..

— Дьявола!.. Вы шутите?

Но дядя Захарий не удостоил меня ответом и предался глубокому размышлению.

Наступала ночь, солнце исчезало за елями Шварцвальда.

С того дня мастер Захарий утратил свое хорошее расположение духа. Он попытался было написать свою большую симфонию Серафимы, но, так как это ему не удалось, он впал в глубокое уныние. Во всю длину вытягиваясь в своем кресле, устремив глаза в потолок, он только и делал, что мечтал о небесной гармонии. Когда я ему доказывал, что наши деньги пришли к концу и что недурно было бы ему написать какой-нибудь вальс, гопсер [1] или что-нибудь иное, чтобы поправить наши дела, он возражал мне:

— Вальс!.. гопсер! что это такое? Вот если бы ты заговорил со мной о моей большой симфонии, — в добрый час; но вальс! Вот что, Товий: ты теряешь рассудок, ты сам не знаешь, что говоришь.

Потом он продолжал более спокойным тоном:

— Товий, поверь мне, как только я окончу мое большое произведение, нам можно будет сложить руки и спать, сколько душе угодно. Это альфа и омега гармонии. Мы создадим себе известность! Я

---

[1] Плясовая.

бы давно окончил этот шедевр; одно лишь мне в этом мешает, это ворон!

— Ворон!.. но, дорогой дядя, чем этот ворон может помешать вам писать, скажите, пожалуйста? Разве он — не такая же птица, как и все другие?

— Такая же птица, как и все другие! — в негодовании пробормотал мой дядя. — Товий, я вижу, что ты — в заговоре с моими врагами!.. Между тем, чего я только ни сделал для тебя. Разве я не воспитал тебя, как своего собственного ребенка? Разве я не заменял тебе отца и мать? Разве я не выучил тебя играть на кларнете? Ах, Товий, Товий, это очень дурно!

Он говорил это таким убеждённым тоном, что я в конце концов верил ему и проклинал в душе этого Ганса, смущавшего вдохновение моего дяди. «Если бы не он, — говорил я сам себе, — наше состояние было бы уже у у нас в руках!..» И я уже начинал сомневаться, не был ли ворон самим дьяволом, как это думал мой дядя.

Иногда дядя Захарий пытался писать, но по какой-то любопытной и почти невероятной случайности Ганс всегда показывался в этот самый миг, или же раздавалось его хриплое карканье. Тогда несчастный композитор с отчаяньем бросал перо, и если бы у него были волосы, он рвал бы их полными горстями, до того велико было его раздражение. Дело дошло до того, что мастер

Захарий позаимствовал у булочника Рацера ружье, старую, заржавленную махину, и становился на часы за дверью, подстерегая проклятое животное. Ганс, хитрый, как дьявол, никогда не появлялся в эти минуты; но как только мой дядя, дрожа от холода (дело было зимой), шел греть себе руки, Ганс тотчас же каркал перед домом. Мастер Захарий стремительно бросался на улицу… Ганс только что исчез!..

Это была настоящая комедия, весь город говорил об этом. Мои школьные товарищи смеялись над моим дядей, что заставило меня дать не одну битву на маленькой площади. Я защищал дядю до последней крайности и каждый вечер возвращался с подбитым глазом или с поврежденным носом. Дядя растроганно смотрел на меня и говорил:

— Дорогое дитя, мужайся… Скоро тебе не придется больше так стараться!

И он с воодушевлением принимался описывать мне то грандиозное произведение, которое он обдумывал. Это было поистине великолепно; все было на своем месте: сначала увертюра апостолов, потом хор серафимов в mi-bemol, затем Veni Creator, грохочущий среди молний и грома!.. — Но, — прибавляет дядя, — нужно, чтобы ворон умер. Поверь, Товий, причина всех бед в этом вороне; не будь его, моя великая

симфония была бы уж давно написана, и мы могли бы жить на свою ренту.

II

Однажды вечером, возвращаясь в сумерки с Малой площади, я встретил Ганса. Был снег, луна сверкала над крышами, и я не знал, что за смутное беспокойство вкралось в мое сердце при виде ворона. Дойдя до двери нашего дома, я был совершенно поражен, увидя, что она открыта; какой-то свет пробегал по нашим стеклам, как бы отражение угасающего огня. Я вхожу, зову, нет ответа! Но представьте себе мое изумление, когда при отблеске пламени я увидел своего дядю, с посиневшим носом, с фиолетовыми ушами, развалившегося в своем кресле, со старым ружьем нашего хозяина меж ног и с башмаками, покрытыми снегом.

Бедняга ходил охотиться на ворона. — Дядя Захарий, — воскликнул я, — вы спите? — Он приоткрыл глаза пронизал меня сонным взглядом:

— Товий, — сказал он, — я целился в него более двадцати раз, и всегда он исчезал, как тень, в тот момент, когда я собирался спустить курок.

Проговорив эти слова, он впал в глубокое оцепенение. Сколько я его ни тряс, он не двигался! Тогда, охваченный страхом, я побежал за

Газельноссом. Когда я подымал молоток у двери, мое сердце билось с невероятной силой, а когда удар раздался в глубине сеней, мои колени подкосились. Улица была пустынна, вокруг меня порхало несколько хлопьев снега, я дрожал. После третьего удара окно доктора открылось, и голова Газельносса, в нитяном колпаке, свесилась наружу.

— Кто там? — спросил он тщедушным голосом.

— Господин доктор, пойдемте скорей к мастеру Захарию: он очень болен.

— Э! — проговорил Газельносс, — я только оденусь, и явлюсь.

Окно снова закрылось. Я прождал еще добрых четверть часа, смотря на пустынную улицу, прислушиваясь к скрипу флюгеров на ржавых стрелках и к отдалённому лаю на луну хуторской собаки. Наконец, послышались шаги, и кто-то медленно, медленно спустился с лестницы. В замок ввели ключ, и Газельносс, закутанный в большую серую пелерину, с маленьким фонарем в виде подсвечника в руке, появился на пороге.

— Брр! — произнес он, — какой холод! Хорошо что я закутался.

— Да, — отвечал я, — вот уж двадцать минут, как я дрожу от холода.

— Я торопился, чтобы не заставлять тебя ждать.

Минуту спустя мы входили в комнату моего дяди.

— Э! добрый вечер, мастер Захарий, — преспокойно сказал доктоpь Газельносс, задувая свой фонарь, — как вы поживаете? Оказывается, у нас маленький насморк.

Заслышав этот голос, дядя Захарий, казалось проснулся.

— Господин доктор, — сказал он, — я расскажу вам все с самого начала.

— Это бесполезно, — произнес доктор, усаживаясь против него на старый сундук, — я знаю это лучше вас, мне известны начало и последствия, причина и действия: вы ненавидите Ганса, а Ганс ненавидит вас… Вы преследуете его с ружьем, а Ганс забирается на ваше окно, чтобы издеваться над вами. Э! э! э! это так просто: ворон не любит пения соловья, а соловей не может выносить карканья ворона.

Так говорил Газельносс, доставая понюшку из своей маленькой табакерки; потом он положил ногу на ногу, встряхнул складки своего жабо и стал улыбаться, пронизывая мастера Захария своими хитрыми глазками.

Мой дядя был поражен.

— Послушайте, — продолжал Газельносс, — это не должно вас удивлять, подобные случаи встречаются ежедневно. Симпатии и антипатии

управляют нашим бедным миром. Вы входите в трактир, в пивную, все равно куда, вы замечаете двух игроков за столиком, и, не зная их, вы тотчас желаете счастья одному против другого. По какой причине предпочитаете вы одного другому? Да ни по какой… Э! э! э! на этом ученые настраивают системы без конца, вместо того, чтобы просто сказать: вот кошка, вот мышь; я желаю счастья мыши, потому что мы принадлежим к одному семейству, потому что раньше, чем быть Газельноссом, доктором медицины, я был крысой, белкой или полевою мышью и, следовательно…

Но он не окончил своей фразы, так как в ту же минуту случайно зашедшая дядина кошка прошла возле него; доктор схватил ее за шкуру и запрятал в свой большой карман с молниеносной быстротой. Дядя Захарий и я, мы с изумлением посмотрели друг на друга.

— Что хотите вы сделать с моей кошкой? — сказал, наконец, дядя.

Но Газельносс вместо ответа смущенно улыбнулся и пролепетал:

— Мастер Захарий, я хочу вас вылечить.

— Сначала верните мне мою кошку.

— Если вы меня заставите вернуть эту кошку, — сказал Газельносс, — я предоставлю вас вашей печальной судьбе: у вас больше не будет ни минуты спокойствия, вы не сможете написать ни

одной ноты и вы будете худеть с каждым днем.

— Но, ради самого неба! — продолжал мой дядя. — Что вам сделало бедное животное?

— Что оно мне сделало, — ответил доктор, черты лица которого перекривились, — что оно мне сделало!.. Знайте, что мы воюем от начала веков! Знайте, что в этой кошке вмещается квинтэссенция чертополоха, задушившего меня, когда я был фиалкой, остролиста, застившего мне, когда я был кустом, щуки, съевшей меня, когда я был карпом, и ястреба, сожравшего меня, когда я был мышью!

Я подумал, что Газельносс сходит с ума; но дядя Захарий, закрыв глаза, отвечал после долгого молчания:

— Я вас понимаю, доктор Газельносс, я вас понимаю… может быть, вы и правы!.. Вылечите меня, и я отдам вам свою кошку.

Глаза доктора заблестели.

— В добрый час! — воскликнул он. — Теперь я вас вылечу.

Он вынул из своей сумки перочинный нож и, взяв с очага кусочек дерева, ловко разбил его. Мы с дядей наблюдали за доктором. Разбив свою деревяшку, он начал ее выдалбливать; потом он оторвал от своего бумажника маленький, тоненький ремешок пергамента, и, прикрепив его между обеими деревянными дощечками, он, улыбаясь, поднес его к губам.

Лицо моего дяди расцвело.

— Доктор Газельносс, — воскликнул он, — вы — редкостный человек, вы — поистине необыкновенный человек…

— Я это знаю, — прервал Газельносс, — я это знаю… Но погасите свет, пусть ни один уголек не блестит в темноте!

И в то время, как я исполнял его приказание, он настежь открыл окно. Стояла ночь, холодная, как лёд. Над крышами виднелась спокойная и чистая луна. Ослепительный блеск снега и темнота комнаты составляли странный контраст. Я видел, как тень дяди и Газельносса вырисовывалась на окошке; тысяча смутных ощущений одновременно волновали меня. Дядя Захарий чихнул, рука Газельносса нетерпеливо протянулась, чтобы приказать ему молчать, потом молчание сделалось торжественным.

Вдруг резкий свист пронзил пространство: «Пий-вит! пий-вит!» После этого крика все снова замолкло. Я слышал, как колотилось мое сердце Спустя мгновенье, раздался тоть же свист: «пий-вит! пий-вит!» Тут я понял, что его производил доктор при помощи своей приманной дудки. Это открытие вернуло мне немного мужества, и я стал обращать внимание на малейшие обстоятельства событий, происходивших вокруг меня.

Дядя Захарий, полусогнувшись, смотрел на луну.

Газельносс стоял неподвижно; одна рука была у окна, другая — держала свисток.

Прошло добрых две или три минуты, потом вдруг полет птицы прорезал воздух.

— О! — пробормотал дядя.

— Тише! — сказал Газельносс, и несколько раз повторилось его «пий-вит», со странными и учащенными модуляциями. Дважды птица касалась окон в своём быстром, тревожном полете. Дядю Захарий сделал движение, чтобы взять свое ружье, по Газельносс схватил его за руку, прошептав: «Вы с ума сошли?» Тогда дядя сдержался, а доктор возобновил свое свистение с таким искусством, подражая крику сорокопута, попавшего в западню, что Ганс, кружась по всем сторонам, в конце концов, влетел в нашу комнату, увлеченный, конечно, неодолимым любопытством, которое помутило его ум. Я слышал, как обе его лапы тяжело упали на пол. Дядя Захарий закричал и бросился на птицу, которая выскользнула из его рук.

— Неловкий! — вскричал Газельносс, закрывая окно.

И пора было! Ганс летал под балками потолка. Прокружившись раз пять или шесть, он ударился о стекло с такой силой, что, ошеломлённый, он

скользнул по окну, стараясь зацепиться когтями за раму. Газельносс быстро зажёг свечу, и тут я увидел бедного Ганса в руках моего дяди, сжимавшего ему шею с лихорадочным восторгом и приговаривавшего:

— Ха, ха, ха! Попался ты мне, попался ты мне!

Газельносс вторил ему своим хохотом.

— Хэ, хэ, хэ! Вы довольны, мастер Захарий, вы довольны?

Я никогда не видел более ужасной сцены. Лицо дяди было багровым. Бедный ворон протягивал лапки, махал крыльями, как большая ночная бабочка, и предсмертный трепет вздымал его перья.

Это зрелище преисполнило меня ужасом, я бросился в глубину комнаты…

Когда первый момент негодования прошел, дядя Захарий стал самим собой.

— Товий, — воскликнул он, — дьявол покончил свои счеты, я прощаю ему. Держи-ка этого Ганса перед моими глазами. Ах! я чувствую, что вновь живу! Теперь — молчание, слушайте!

И мастер Захарий, с вдохновенным челом, торжественно сел за клавикорды. Я сидел против него, держа ворона за клюв. Позади Газельносс высоко подымал свечу, и нельзя было видеть более причудливой картины, чем эти три фигуры, Ганса,

дяди Захария и Газельносса, под высокими и источенными балками потолка. Я еще вижу их, освещенных дрожащим светом, точно так же, как и нашу старую мебель, тени которой мигали на дряхлой стене.

При первых аккордах мой дядя, казалось, преобразился. Его большие голубые глаза заблестели восторгом. Он играл не перед нами, но в соборе, перед бесчисленной толпой, для самого Бога.

Что за величественная песнь! Поочерёдно то мрачная, то патетическая, то раздирающая душу, то безропотная: потом вдруг, посреди рыданий, надежда расправляла свои золотые и лазурные крылья. О, Боже! Возможно ли постигать такие великие вещи!

Это был Requiem, и в продолжение часа вдохновение не покидало ни на мгновение дядю Захария.

Газельносс больше не смеялся. Бессознательно его лицо приняло неизъяснимое выражение. Я подумал, что он был растроган; но вскоре я увидел, что он производит какие-то нервные движения, сжимает кулак, и и я заметил, что в полах его одежды что-то барахталось.

Когда дядя, истощенный столькими волнениями, прислонился лбом к краю клавикордов, доктор вынул из своего большого

кармана кошку, которую он задушил.

— Хэ, хэ, хэ! — сказал он, — добрый вечер, мастер Захарий, добрый вечер. У каждого из нас свои добыча, хэ, хэ, хэ! Вы написали Requiem для ворона Ганса, теперь дело за Аллилуией для вашей кошки… Добрый вечер!..

Мой дядя ослаб до того, что удовольствовался одним движением головы, кланяясь доктору, и сделал знак мне проводить его.

И вот, в ту же ночь скончался великий герцог Иери-Петер II, и когда Газельносс переходил через улицу, я услышал, как соборные колокола стали медленно раскачиваться. Вернувшись в комнату, я увидел, что дядя Захарий стоит.

— Товий, — сказал он мне важным голосом, — иди ложись, мое дитя, иди ложись, я совершенно выздоровел. Я должен записать все это в нынешнюю ночь, а то забуду.

Я поспешил повиноваться и никогда не спал лучше.

На другой день, часов около девяти, я был разбужен большой суматохой. Весь город был на ногах, только и было разговору, что о смерти великого герцога.

Мастер Захарий был призван в замок. Ему заказали Requiem для Иери-Петера II, произведение, доставившее ему, наконец, то место капельмейстера, которого он так давно добивался.

То был тот самый Requiem Ганса. Вот почему дядя Захарий, ставший важной особой, с тех пор как мог тратить по тысячи талеров ежегодно, часто говорил мне на ухо:

— Э! племянник! Если бы узнали, что я написал свой знаменитый Requiem для ворона, мы бы и по сию пору играли бы на кларнете, на деревенских празднествах. Ха, ха, ха! — и толстый живот моего дяди подпрыгивал от удовольствия.

Вот как все совершается в этом мире!

Невидимое око, или Гостиница Трех Повешенных

I

В то время, — рассказывал Христиан, — я был беден, как церковная крыса, и нашел себе приют на чердаке старого дома на улице Миннезингеров, в Нюренберге.

Я ютился в углу под крышей. Черепицы служили мне стенами, главная балка потолком; чтобы дойти до окна, нужно было пройти по соломенному тюфяку, но из этого слухового окна вид был великолепный: оттуда был мне виден весь город и окрестности. Я видел, как кошки важно

расхаживали по кровельному желобу, как аисты носили, подняв клювы, лягушек своему жадному выводку, как голуби бросались из своих голубятен, распустив веером хвосты, и как они кружились над уличной пропастью. По вечерам, когда колокола призывали людей к Angelus'у, облокотившись на край крыши, я вслушивался в их грустное пение, я смотрел, как освещались, одно за другим, окна, как добрые граждане курили трубки на тротуарах и как молодые девушки в коротких красных юбках, держа кувшин под мышкой, смеялись и болтали вокруг колодца святого Себальта. Незаметно все исчезало, летучие мыши пускались в путь, и я, тихо-успокоенный, ложился спать.

Старый старьевщик Тубак знал не хуже меня дорогу в мою клетку и не боялся взбираться по моей лестнице. Каждую неделю его козлиная голова, над которой подымались рыжеватые всклокоченные волосы, приподымала трап, и, цепляясь пальцами за край отверстия, он кричал мне гнусавым голосом:

— Ну, как! мастер Христиан. что есть у вас новенького?

На что я отвечал:

— Входите же, черт возьми, входите… я только что окончил один пейзаж: вы скажете мне, что о нем думать.

Тогда его долговязая фигура начинала

удлиняться… удлиняться и подступала под самую крышу… и милый человек молчаливо смеялся.

Нужно отдать справедливость Тубаку: он не торговался со мной. Он покупал у меня все мои картины по пятнадцати флоринов на круг и продавал их за сорок. Это был честный еврей.

Этот род существования начинал нравиться мне, и я находил в нем с каждым днем все новые прелести, как вдруг добрый город Нюренберг был взволнован странным и таинственным событием. Недалеко от моего слухового окна, немного левей, находилась гостиница «Откормленного Быка», старая гостиница, пользовавшаяся в округе большой известностью. Перед ее дверьми стояло всегда три или четыре телеги, нагруженных мешками или бочками, так как, раньше чем отправиться на рынок, поселяне выпивали там обыкновенно свою чарку вина.

Чердачный этаж гостиницы отличался своей характерной формой: он был очень узок, остроконечен, с обеих сторон вырезан зубцами; его карниз и окружность его окон были украшены причудливыми скульптурами, в виде переплетенных фантастических змей. Но всего замечательнее было то, что на дому, стоявшем против гостиницы, была воспроизведена точно та же скульптура, те же орнаменты; все было скопировано до последнего стержня на вывеске, с

его железными завитками и спиралями.

Можно было сказать, что обе эти старые лачуги отражались одна в другой. Только за гостиницей возвышался большой дуб, на тёмной листве которого сильно выделялись ребра крыши, в то время как соседний дом вырисовывался на небе. Впрочем, насколько гостиница «Откормленного Быка» была шумна, оживлена, настолько другой дом был тих. С одной стороны видно было, как беспрестанно входила и выходила толпа гостей, поющих, спотыкающихся, щёлкающих бичами. С другой — царило уединение. Разве только раза два в день открывалась тяжёлая дверь, чтобы пропустить маленькую старуху, со спиной, согнутой в полукруг, с подбородком клином, в платье, обтягивавшем бока, с огромной корзиной под мышкой и с кулаком, сжатым на груди.

Лицо этой старухи не раз поражало меня; ее зелёные глазки, ее тонкий удлиненный нос, крупные разводы на ее шали, которой было, по крайней мере, сто лет, улыбка, связывавшая в бант ее щеки, и кружево ее чепца, спадавшее на ее брови, — все это показалось мне странным, и я заинтересовался ею; мне хотелось узнать, кто эта старая женщина, что она делает в большом пустынном доме.

Я подозревал тут целую жизнь добрых дел и набожных размышлений. Но однажды, когда я

остановился на улице, чтобы глазами проследить за ней, она вдруг повернулась и бросила на меня взгляд, ужасное выражение которого я не был бы в силах описать, и состроила три или четыре отвратительных гримас; потом, опустив снова свою трясущуюся голову, она подобрала свою большую шаль, кончик которой волочился по земле, и быстро зашагала к своей тяжелой двери, за которой и исчезла на моих глазах.

«Это старуха сумасшедшая, — сказал я сам себе с изумлением, — злая и хитрая сумасшедшая старуха. Право же, я напрасно интересовался ею. Я бы желал увидеть ее гримасу еще раз. Тубак дал бы мне охотно за нее пятнадцать флоринов.»

Впрочем, эти шутки не особенно успокоили меня. Ужасный взгляд старухи всюду меня преследовал, и не раз, взбираясь по перпендикулярной лестнице в свою конуру и почувствовав, что я зацепился за что-нибудь, я дрожал с ног до головы, представляя себе, что это старуха тянет меня за полы платья, стараясь меня опрокинуть.

Тубака, которому я рассказал эту историю, вместо того, чтобы посмеяться над ней, принял серьёзный вид.

— Мастер Христиан, — сказал он мне, — если старуха сердится на вас, то берегитесь! у нее маленькие, острые зубы, чудесной белизны; это —

неестественно в ее годы. У нее дурной глаз. Дети убегают при ее приближении, а жители Нюрнберга зовут ее Летучей Мышью.

Я пришел в восторг от проницательного ума еврея, и слова его заставили меня о многом подумать; но прошло несколько недель, и так как мои частые встречи с Летучей Мышью не имели никаких печальных последствий, мои страхи рассеялись, и я перестал думать о ней.

Но вот, однажды вечером, когда я спал лучшим из снов, я был разбужен какой-то своеобразной гармонией. То была такая нежная, такая мелодичная вибрация, о которой шепот ветерка среди листвы может дать лишь слабое понятие. Я долго прислушивался, широко открыв глаза, сдерживая дыхание, чтобы лучше слышать. Наконец, я взглянул на окно и увидел два крыла, бившихся о стекла. Сначала я подумал, что это была летучая мышь, попавшая ко мне в комнату, но тут взошла луна, и на ее сверкающем диске начертались прозрачные, как кружево, крылья великолепной ночной бабочки. Их дрожание было порой так поспешно, что их не было более видно; потом они замирали, распластавшись по стеклу, и их хрупкие жилки вырисовывались снова.

Это облачное видение, среди всемирного молчания, открыло мою душу для самых сладостных волнений; мне показалось, что какая-то

лёгкая сильфида, тронутая моим одиночеством, посетила меня… и эта мысль растрогала меня до слез: «Будь покойна, нежная пленница, будь покойна, — сказал я ей, — твое доверие не будет обмануто: я не стану удерживать тебя здесь против твоей воли… возвращайся к небу, к свободе!»

И я открыл свое маленькое окошко. Стояла тихая ночь. Тысячи звезд сверкали в пространстве. С минуту я любовался этим величественным зрелищем, и слова молитвы сами собой пришли мне на уста. Но судите о моем остолбенении, когда, опустив глаза, я увидел человека, висевшего у перекладины вывески Откормленного Быка, с растрепанными волосами, с неподвижными руками, с ногами, вытянутыми, как стрелы, бросающими гигантскую тень до самой глубины улицы.

В неподвижности этой фигуры, освещенной лучами луны, было что-то ужасное. Я почувствовал, как мой язык застыл, как застучали мои зубы. Я готов был крикнуть; но вдруг, по какому-то таинственному притяжению, мои взоры углубились ниже, и я смутно различил старуху, сидевшую на корточках у окна, среди огромных теней, и любовавшуюся на повешенного с видом дьявольского удовлетворения.

Тут со мной случилось головокружение ужаса; силы мои покинули меня, и, отступив к стене, я упал, лишившись чувств.